








Биографический отдел



На асфальте 9-й линии мокрое пятно в виде раздавленной крысы, с раскинутыми лапами и длинным хвостом.

Урмиский татарский (сидит в трамвае, она смотрит в окно и узнаёт знакомого): » Пешком бара, ать - два! «

Одобрение машинистки: » Киевский анекдот, марочкой! «



Биографический отдел

Воспоминания

Д. И. Зубарев

Мемориал

Меня зовут Дмитрий Зубарев. Я родился в 1946 году. Летом 1962-го, когда мне было 16 лет, я окончил среднюю школу в Ярославской области и поступил на филологический факультет МГУ. Я хотел заниматься русской литературой XX века. Моим кумиром был Маяковский. Первый том его собрания сочинений я знал почти наизусть вместе с комментариями. Больше о русской литературе за пределами школьного учебника я не знал практически ничего. Но для поступления в университет моих знаний хватило. Я поселился в общежитии на Ломоносовском проспекте для студентов младших курсов и жил там два года.

На факультете я знакомился со своими однокурсниками прежде всего. А с аспирантами, которым был тогда Назиров (он в 1962 году, как и я, приехал в университет и поступил в аспирантуру) я знаком был мало.

Как любопытный студент я ходил иногда на защиты диссертаций, на обсуждение разных книг (прежде всего, конечно, по русской литературе), которые меня интересовали. Я человек был скромный, в основном, слушал. Тем не менее, на одной из дискуссий по поводу экспериментальной книги по истории русской литературы, где не было персональных глав, посвящённых отдельным писателям, а изучался только литературный процесс, я после выступления академика Гудзия, подошёл к нему, поговорил, чем вызвал его интерес к себе и желание познакомиться. Но я испугался и в дальнейшем (о чём сейчас жалею) никогда с ним больше не общался. У него был семинар, сейчас не помню, по творчеству Толстого или по древнерусской литературе, он иногда вёл то один, то другой, который заседал у него дома. Я слышал рассказы об этом семинаре, о том, как это непохоже на наши обыкновенные занятия. Тем не менее, от знакомства воздержался.

Я совершенно не помню, был ли я тогда знаком с Ромой, в течение первых двух лет, когда мы жили в разных местах, я на Ломоносовском проспекте, а он, как и все аспиранты, в главном здании университета.

Достоевского я тогда начал читать для себя, ещё до того, как мы должны были его изучать по программе. И одновременно (это было когда я уже учился на втором курсе) вышла книга Бахтина, вызвавшая на факультете бурный резонанс, хотя и не в преподавательской среде. Тем не менее, уже тогда я услышал от своих однокурсников, которые занимались

в семинаре Владимира Николаевича Турбина, что это новое слово в филологической науке. Турбин был одной из центральных дискуссионных фигур на факультете как руководитель семинара по творчеству Лермонтова и как автор полупублицистических работ, публикуемых массовыми тиражами. В частности, он тогда опубликовал брошюру «Товарищ время и товарищ искусство»¹, где пропагандировал русский авангард, революционизацию искусства XX века, и она попала под идеологический прессинг после знаменитой выставки в Манеже и выступления Хрущёва против художников-авангардистов. На факультете раздался голоса, что Турбин должен учесть критику и отказаться от своих взглядов, поскольку они прямо соответствовали тому, что партия в лице Хрущёва и других идеологов отрицает и считает главной опасностью. Турбин очень долго от раскаяния воздерживался, но потом вынужден был написать письмо, опубликованное в самом малотиражном издании, «Вестнике МГУ. Филологические науки», тиражом 1000 экземпляров, там было краткое признание ошибок и признание, что недостаточно учитывалось великое значение русской литературы XIX века как образца для творчества современных писателей. Тем не менее, он оставался активным литературным критиком и в январе 1964-го стал вести в журнале «Молодая гвардия» литературную колонку «Комментирует Владимир Турбин», где писал о чём угодно — о кино, о театре, о книгах по литературоведению. Он оставался одной из центральных фигур литературной жизни Москвы и всей страны. Кроме того, было известно, что он является активным пропагандистом Бахтина. С момента издания книги «Проблемы поэтики Достоевского» (она вышла, насколько я помню, в конце 1963-го года) из семинара Турбина стали доноситься утверждения, что вся филология должна быть пересмотрена на основе идей Бахтина. Учение Бахтина о карнавале, впервые изложенное именно во втором издании книги о Достоевском (в первом издании 1929-го года ничего подобного не было), роль карнавала в мировой культуре, то, что потом у него было гораздо более полно реализовано в книге о Рабле, было изложено здесь в отдельной главе. Турбин говорил, что эта книга и прежде всего эта глава есть новое слово в науке и дальше заниматься филологией без Бахтина нельзя.

На этой волне мой знакомый (я не помню, как я с ним познакомился) старшекурсник, он тогда учился на 4-м курсе, Борис Фёдоров, он был председателем студенческого научного общества, организовал заседание общества с обсуждением книги Бахтина. Это было начало 1964 года. Точной даты я не помню. Паньков¹, которого вы знали, успел взять у меня интервью. Он очень заинтересовался, когда узнал, что я был на этой дискуссии. Он сказал, что в бахтиноведении о ней существуют очень смутные сведения о том, кто её организовал, кто на ней выступал. Никаких письменных следов этой дискуссии не осталось. Не было ни звукозаписи, ни протокола. Я как свидетель могу сказать, что организовал её Борис Фёдоров, студент четвёртого курса, проходила она в 66-й аудитории, основной аудитории филфака. Список выступающих я могу назвать, но я это сделал в интервью, записанном

¹Турбин В. Товарищ время и товарищ искусство. М., 1961.

¹Николай Алексеевич Паньков (1956–2014), филолог, историк науки, главный редактор журнала «Диалог. Карнавал. Хронотоп».

Паньковым, которое хранится в той лаборатории, которую он возглавлял. Сейчас, я думаю, этого делать не нужно. Только я совершенно не могу вспомнить, был ли я в то время знаком с Ромой (думаю, что был) и как он себя во время этой дискуссии вёл. То, что он не оставил о ней записей в дневнике, это очень странно. Он, писавший диссертацию о Достоевском, прочитавший книгу Бахтина, не быть там он не мог. Я не представляю себе, чтобы он не пришёл. Какое это должно было быть событие зимой 63–64-го, которое не позволило ему прийти?

Во всяком случае, он для меня оставался если и знакомым лицом (естественно, на факультете я его встречал), то никаких информативных впечатлений от беглого знакомства не осталось. Может быть, он меня и не знал, только видел лицо.

Дальше — лето 1964 года. Я получил повестку о грядущем призыве в армию. До этого момента я как-то не понимал, что выбрал отделение, где нет военной подготовки и откуда призывают в армию на три года. Я к военной службе не был готов и стал думать, что в этой ситуации делать. Я решил перейти на отделение русского языка для иностранцев, где есть военная подготовка, начиная именно со второго курса. Но это отделение требовало знания английского или испанского языков, которыми я не владел. Поскольку владеть английским, который студенты учили много лет, было трудно, я предпочёл испанский. Я, как выяснилось, имел хорошие лингвистические способности, за неделю-другую выучил курс испанского языка за первый год и получил разрешение сдать его в группе, которая проучилась целый год. Сдав экзамен, я написал заявление с просьбой перевести меня на отделение с потерей курса. Такое практиковалось. Я был студентом-отличником. У меня были одни пятёрки, никаких претензий со стороны других организаций, кроме военкомата, у меня не было, и поэтому меня перевели с потерей курса, то есть меня, окончившего второй курс русского отделения, перевели не на третий курс этого же отделения, а на второй курс отделения русского языка для иностранцев. Однако в общежитии про это ничего не знали, и меня перевели из общежития на Ломоносовском в общежитие в главном здании на Ленинских горах, где жили студенты третьего курса. Я там в сентябре поселился, там началось моё годичное общение с Ромой.

Мы жили на одном этаже в зоне «В». Поскольку я в течение четырёх лет, что я там прожил, этажи менял, я сейчас не помню, на каком этаже это было. Может быть, в его дневниках это есть, на каком этаже он жил в последний год обучения. Если вы были в общежитии главного здания, вы представляете структуру: лифты, около лифта место для дежурного по этажу, где предполагалось примерно раз в месяц дежурить, отвечать на телефонные звонки и нажимать на пульте кнопку вызова из той комнаты, в которую звонят. Около пульта гостиная с пианино, телевизор, два десятка стульев и что-то вроде эстрады. В основном, там народ смотрел телевизор.

Я не могу сказать, с какого момента, но наше общение с ним стало почти ежедневным. Именно в общежитии, когда мы жили на одном этаже с сентября 1964-го по июль 1965-го, и беседы наши охватывали самые разные отрасли бытия.

Представьте себе разницу нашего статуса. Я 18-летний студент. Он - 30-летний аспирант, заканчивающий диссертацию. Как собеседник для диссертационных тем я заинтересовать его совершенно не мог. Тем не менее, я регулярно сообщал ему что-то новое. Это было связано с тем, что у меня получился льготный год. Все экзамены, кроме испанского языка, за второй курс у меня уже были сданы. Это общие лекционные курсы и по русской литературе, и по русскому языку, и по зарубежной литературе — самые трудоёмкие, требующие чтения массы текстов. То есть я выезжал из общежития только на обязательные занятия по языку, а дальше мог заниматься чем хотел. Я использовал это на всю катушку. Во-первых, я ходил на разные лекции других преподавателей. Я был обязан слушать то, что положено, а так я смотрел факультетское расписание и шёл слушать то, что мне интересно. Например, я иногда ходил на лекции Турбина, очень эффектные, в ярмарочно-балаганном стиле. Он читал примерно так: «На следующей лекции сенсационный тезис! «Обломов — русский Робинзон Крузо!» Приходите все!» Иногда ходил на курс академика Виноградова. Кстати, Назиров тоже о нём не упоминает? Ведь Виноградова занимают вопросы атрибуции: можно ли Достоевского идентифицировать по стилю? Виноградов именно этим занимался и во многом об этом читал в своём курсе. Но Ромы там среди слушателей точно не было. Мне сказали, что на курс Виноградова ходит только кафедра русского языка в обязательном порядке, чтобы знать точку зрения своего начальника. Я иногда заходил на Виноградова, иногда заходил на Турбина, иногда заходил на курсы лекций по современной западной литературе, которые читал Андреев, если вы его знаете. Потом через десять лет он стал заведующим кафедрой и деканом факультета. Он читал лекции по французскому театру абсурда. Я их с интересом слушал. Кроме того, вы знаете это здание, где размещался факультет? На Моховой, в наше время она называлась «проспект Маркса», то здание, где памятники Герцену и Огарёву; первые два этажа там занимал факультет журналистики, вторые два этажа там занимал филологический факультет. Я, окончив занятия по испанскому, спускался на первый этаж в библиотеку журфака, которая отличалась тем, что там в открытом доступе, на полках, стояли все русские литературные журналы от «Библиотеки для чтения» до журналов начала XX века. Там, я считаю, я получал фундаментальное филологическое образование. Поскольку меня интересовала литература XX века, то «Отечественные записки», «Библиотека для чтения», «Вестник Европы» и «Современник», которые там стояли, я не читал. Не знаю, ходил ли туда Рома знакомиться с первоисточниками. Думаю, что да. Если ему нужны были первоисточники для диссертации, то в этой библиотеке они были доступны: просто берёшь с полки и читаешь. Я там читал XX век и стал достаточно образованным в этой сфере. Роспись этих журналов появилась только в эпоху Интернета. Тогда можно было достаточно долго ждать заказа в Ленинке, а здесь я просто приходил, пролистывал журналы и так прочитал все «Русскую мысль», включая все публикации акмеистов, Блока, дискуссии о них, «Вестник Европы», «Русское богатство», «Заветы». Я считаю, что стал образованным человеком по XX веку именно в этот год. Кроме того, мне хватало времени, чтобы обмениваться всякой информацией со своими друзьями-стар-

шекурсниками. Борис Фёдоров в студенческом научном обществе факультета был человек крайне интересующийся разнообразной информацией о науке, не только филологической. Мы находились в методологическом поиске. Он мне подарил или помог купить первое издание книги Лотмана «Лекции по структуральной поэтике». Он приносил какие-то доклады с неофициальных семинаров по разным наукам, не только по филологии. Фёдоров рассказывал мне про семинар Щедровицкого. Был такой методологический семинар. На заседаниях студенческого научного общества продолжались доклады разных студентов, посвященные неортодоксальным методологиям. Бахтин представлял только одну из них. Другую — многими забытый, но ныне воскрешаемый сторонник функционального построения истории литературы и искусства Иеремия Иоффе. Его работы 1930-х годов были изрядно подзабыты, а Фёдоров их активно среди нас пропагандировал. Один из докладов был о Иоффе. Кроме того, у меня были друзья, которые стали активистами в Институте физических проблем, который теперь имени Капицы. Тогда он ещё был там директором. В актовом зале института, куда в отличие от самого института вход был свободным (институт был режимным, но актовый зал не имел режимного статуса), организовывали неформальные выставки художников авангарда, выступления разных интересных людей: историков, писателей. Я везде успевал бывать и обо всём этом рассказывал Роме. Его это интересовало. Совершенно не помню его реакцию на Лотмана. Есть ли таковая в дневниках? Не знаю. Потом это привело меня в Тарту через несколько лет, и в дальнейшем мои тартуские знакомства изменили всю мою жизнь. Во многом преопределили. Книгу эту показал Роме я. Он о ней не знал, как почти никто на факультете. Помимо того, что я был активистом научно-студенческого общества, я также был активистом факультетского литобъединения. Я тоже регулярно рассказывал Роме о том, что у нас делается, но это, по-моему, его не заинтересовало. А среди наших главных факультетских литераторов был человек, который затем сыграл значительную роль в истории литературы, Юрий Кашкаров. Это был последний ученик Н. К. Гудзия, его дипломник, и одновременно подпольный прозаик. На студенческом литобъединении он читал свои рассказы, очень высокого уровня, как тогда считал и я, и наш руководитель Иван Фёдорович Волков, будущий декан факультета. Но последний говорил, что мрачная тональность мешает публикации. Тем не менее мы готовили под руководством Волкова сборник литературных работ факультета под названием «Слово». Там должна была быть поэзия, проза и литературная критика. В частности, я пытался нечто написать. У меня были к этому времени две большие статьи в факультетской стенгазете. Одна — рецензия на рассказ Солженицына «Для пользы дела». Я очень тогда увлекался Солженицыным и думал, что, может быть, напишу о нём диплом. И статья о бардах. И ещё такого слова — барды — не было. Моя статья, которая, к сожалению, утеряна (я выяснял, комплекты газеты за это время не сохранились). Это наиболее известный мой текст, который Рома мог прочитать в стенгазете. Может быть, он этим заинтересовался. В статье «А что мы поём?» (которая является одной из первых статей по истории бардовской песни, как я сейчас понимаю, а она стала темой для докторских диссертаций, в НЛЮ регулярно

публикуются обзоры) анализировались четыре имени: Окуджава, Новелла Матвеева, Ким (который тогда регулярно выступал в университете) и Визбор, который на плёнках был в общежитии почти в каждой комнате. Песни Визбора смешивались с песнями Городницкого, о чём мне на полях моей статьи было сделано замечание. Попытки выявить нечто общее в этом феномене, дать классификацию этого явления как жанра в этой статье были. Но, к сожалению, больше я бардовской песней не занимался, так что мой вклад в бардоведение науке неизвестен.

Обо всём этом мы с Ромой говорили. Перечислить все темы наших разговоров я даже не буду пытаться. Общение в основном происходило именно в гостиной. Не помню совершенно номера комнаты, где жил Рома, и его соседа финна, может быть, потому что он меня совершенно не интересовал. Не помню даже, участвовал ли Рома в нашем ночном преферансе. Почти каждую ночь несколько аспирантов там было. Поэтому не буду настаивать на том, что Рому мы приглашали. Мой сосед по комнате часто отсутствовал, поэтому мы часто играли у меня. Мне почему-то кажется, что Рома бывал. Общение в основном было «на пульте» и в гостиной. Я ему что-то приносил, что-то показывал. Тогда же стал появляться самиздат. Одним из первых текстов самиздата, который появился именно осенью 1964 года были «Крохотки» Солженицына. Это было около 10 страниц на машинке. Я был очень активным популяризатором, давал почитать всем своим знакомым. Текст распространялся без подписи. Я всех спрашивал: «Кто автор?» Мне-то сказали, что это Солженицын, но в тексте этого не было. Так я проверял филологическое чутьё всех своих знакомых. Некоторые колебались: «Может, Солоухин?» На эту мысль наталкивали религиозные мотивы и интерес к церквям. Рома был единственным, кто без колебаний сказал, что это Солженицын и даже дал какие-то характеристики стиля, которые совпадают со стилем, которым написан рассказ «Матрёнин двор». Структура фразы. Он дал квалифицированную филологическую атрибуцию. Без колебаний. В отличие от большинства присутствующих он сказал, что Солженицын, конечно, мастер крупной формы, нужно ждать от него больших произведений.

О чём я хочу сказать подробно. Наши разговоры о Достоевском. Здесь достаточно много вспоминается. Я был человек достаточно тёмный в достоевсковедении. Кроме Бахтина, которого я тогда прочитал, я не ориентировался в современном достоевсковедении. И когда называл Роме фамилии каких-то достоевсковедов (Кирпотин, Гус), Рома с пренебрежением о них отзывался. Гусу он дал уничтожающую характеристику. Когда я сказал «Фридлиндер», он ответил: «Вот это совсем другое дело. Фридлиндер — это тот достоевсковед, которого можно и нужно читать». Тогда же в «Новом мире» была републикована из журнала «Проблемы мира и социализма» статья Юрия Карякина о Солженицыне «Эпизод из современной борьбы идей». Она была направлена против казарменного коммунизма и Мао Цзедуна. Тогда уже около года шла полемика советской и китайской компартий. Карякин, который работал тогда в журнале «Проблемы мира и социализма», издававшемся на, кажется, 10 языках, с помощью Солженицына пытался укрепить позиции Москвы в полемике

Пекином. Эта статья, опубликованная в политическом журнале, была немедленно републикована «Новым миром», чего они практически никогда не делали. Рома, естественно, эту публикацию знал, и он мне сказал про Карякина, что это очень значительный человек, и что в прошлом году он опубликовал в этом же журнале такую же статью о Достоевском, где реабилитировал его от обвинений в реакционности и пытался использовать как аргумент в борьбе с казарменным коммунизмом. Он очень высоко ценил Карякина.

Тогда же мы говорили о его диссертации. По-моему, он сказал, что возникают проблемы с упоминаемыми именами. По его словам, когда он попытался упомянуть про Ницше, про влияние Достоевского на Ницше, кто-то из внутренних рецензентов умолял его заклеить эту фразу, чтобы ничего подобного не было. О значении «Записок из Подполья» как центрального произведения Достоевского это он мне объяснил. В достоевсковедении тогда об этом ещё никто не писал.

Помню один разговор, когда он пытался в духе Карякина доказать, что Достоевский не противник социалистической революции, я его спросил: «Рома, ну а как же? В 1917-м году Достоевский наверняка был бы против Октября вместе со Струве, веховцами и так далее. «Вехи» — это же во многом идеи Достоевского». Рома мне возразил, сказал, что это не факт, что это утверждать категорически нельзя, и что, возможно, он был бы ближе к Блоку с его восприятием народной стихии. Я тогда не стал углубляться в эту дискуссию и не знаю, что он сам потом думал по этому поводу.

Был ли у нас тогда разговор о Нечаеве в духе той его статьи, которая появилась через много лет, — про связь с европейским левым экстремизмом. Это мне было бы очень интересно узнать, поскольку это стало потом предметом и моих собственных исследований, до сих пор не опубликованных.

Среди тех книг, которые я читал, а он нет (таких было достаточно много, поскольку он читал целенаправленно, а я, как вы видите, хватался за всё), было собрание сочинений Гумилёва, которое только что вышло в США. И там во вступительной статье Глеба Струве комментируется стихотворение Гумилёва «Моим читателям», одно из последних, написанных им, за месяц до расстрела. Там есть такие строки, посвященные человеку, знакомством с которым (помимо прочих) он гордится:

Человек, среди толпы народа
Застреливший императорского посла,
Подошёл пожать мне руку,
Поблагодарить за мои стихи

Струве высказывает предположение, что этим человеком был Яков Блюмкин. Когда я сказал об этом Роме, он на это очень резко антигумилёвски отреагировал: «Возможно, это так, но тем хуже для Гумилёва». Для него Блюмкин был одним из носителей вот этой нечаевской традиции, когда человек с пистолетом в руках ощущает себя хозяином жизни и творцом истории.

Вот что я помню о наших дostoевсковедческих штудиях.

Кстати, забыл сказать, что после ещё одного нашего разговора о Достоевском, о Нечаеве и о человеке с пистолетом, Рома сказал, что есть ещё один такой человек с пистолетом — это Джеймс Бонд. Он показал свою статью о Джеймсе Бонде, которую он написал. Она опубликована в Уфе. Он сказал: «Многие считают, что я написал эту статью для заработка, но я отвечаю за её содержание». Он процитировал мне её финал. «На экранах западных кинотеатров, на плакатах уже несколько лет фигурирует физиономия человека с пистолетом, который совершает разные комичные и полукомичные действия, развлекая публику. В руках он держит револьвер Беретта, дуло этого револьвера направлено на нас. И это несмешно».

О чём мы говорили ещё? О самых разных вещах. Я всё-таки тогда был 18-летним мальчиком и смотрел на Рому как на образец современного интеллигента. Он, узнавая от меня литературные и околотитературные новости, он относился к разнообразию моих интересов не очень одобрительно. «Ведь ты же не знаешь языков. Ходишь на свой испанский и больше ничего и знать не хочешь. А современный интеллигент должен знать английский, французский и немецкий». То, что он свободно читал на этих языках, он считал совершенно необходимым для своего статуса исследователя и вообще интеллигента, а испанский не считал культурным языком. Кроме того, он активно изучал польский и писал мне фамилии польских поэтов, которых я не знал. Я, кроме Тувима, вообще ни об одном польском поэте не слышал. Он мне объяснил, что это не единственное и не самое интересное, что есть на польском. Мои слова о Польше он высмеивал, считал, что я не имею права ничего говорить, раз не знаю польского языка. Я читал журнал «Польша», очень увлекался рассказами Станислава Лема, которого я считал величайшим писателем. У меня тогда было два кумира — Лем и Солженицын. Назиров меня высмеивал, говорил, что Лем вообще не писатель, а разговаривать о польской литературе, не зная польского языка, нельзя.

Я не помню, когда возникла тема Михаила Михайлова. Он мне не показывал самой книги «Лето московское», но он мне сказал, что активно общался с Михайловым летом 1964-го года именно в здании университета. Рома был книгой очень недоволен. Сказал, что Михайлов там всё переврал. «Даже песни, которые я ему пел». В пример приводил песню «Советская пасхальная»: «Гляжу на небо просветленным взором» о том, как в Советском Союзе встречают пасху. Он сказал, что Михайлов даже эту песню умудрился перевернуть в переводе и неправильно понять.

Помимо искажения сказанных Ромой слов, он опасался, что произойдёт утечка, что выяснится имя собеседника Михайлова. Тем более, что, как выясняется из книги Герасимовой, они вместе фотографировались.

Я припоминаю один разговор. Он говорил: «Когда я поступал в аспирантуру и утверждал тему диссертации, я сказал, что хочу заниматься Достоевским центрального периода, а именно «Записками из Подполья», Турбин не то что испугался, но сказал: «Да что вы! Разве так надо себя вести? Надо выбрать себе какого-нибудь спокойного классика, нико-

го не интересующего, чтобы без скандалов защититься, а потом уже, будучи кандидатом, идти дальше. Вот как я: приехал из провинции в Москву, выбрал себе творчество Якуба Колоса, на которого всем глубоко наплевать, а став кандидатом наук уже стал интересоваться и Достоевским, и Лермонтовым, и формалистами, и Бахтиным. А вы сразу беретесь за самое главное». Кстати о Достоевском, чтобы закончить тему. Уже потом, занимаясь Святополк-Мирским, я нашёл в его книге «История русской литературы» (которая была издана по-английски в 1925 и 1927 годах, а только в 1992 оба тома переведены вместе в русском издании) формулировки в главе о Достоевском, касающиеся «Записок из Подполья», очень близкие к тому, что писал Рома, — о центральном месте этой книги в творчестве Достоевского, что с неё начинается великий писатель и его влияние на Ницше. Он мог читать Мирского. Для Мирского это была одна из центральных тем: Достоевский и революция. Он тогда был, как он сам тогда признавался, поклонником Достоевского, Ницше и Бергсона, называл три имени, которые определили его мировоззрение, а потом в 1920-е годы, живя в Лондоне, преподавая русскую литературу, он переделал себя в марксисты. У него есть статьи, где подчёркивается это отречение от Достоевского, признание его великим предателем революционной идеи и переход на позиции революционного марксизма. И не случайно, что первой его книгой, которую он себя как марксист позиционировал в Англии, была книга о Ленине, где Достоевский ни в каком качестве не упоминается. Хотя в книге о русской литературе в главе о Достоевском Ленин как последователь Петра Верховенского упоминается. Для самого Мирского это был мучительный перелом. В моей работе о нём я пытаюсь немного об этом сказать. Это его некролог Ленину, который написан ещё с антибольшевистских позиций, но там уже видно начинающееся сползание к признанию Ленина как судьбы России. Это очень интересно.

Рому интересовала эта тема: Достоевский — Ленин — Нечаев и прочие. Так же, как Карякина. Я совершенно не представляю его общественной позиции в Уфе. Думаю, он был широко известен, так что если бы он захотел, он бы смог и участвовать в политике. Учитывая его идеологическую близость к Карякину, он мог бы захотеть. У Карякина это сопровождалось резким сломом, когда он однажды вдруг стал антикоммунистом. Как пушкинский Евгений, вдруг «ударил себя в лоб рукой, захохотал, сказал», что Маркс и Ленин — это не то. Пробыв перед этим 40 лет в КПСС.

С Михайловым я не мог быть знаком, потому что он был в Москве летом 1964-го года, я тогда ещё не жил на Ленинских горах, я тогда жил на Ломоносовском проспекте. Меня иностранные стажёры как таковые вообще не интересовали.

Теперь расскажу о последнем нашем разговоре с Романом, это было после того, как летом 1965-го мы разъехались, и снова встретились в начале сентября. Я уже перешёл на третий курс, а Рома уже заканчивал аспирантуру. В эти дни (это был сентябрь 1965-го) разнеслось (очевидно, это был семинар Дувакина, учителя Синявского, где были мои однокурсники): арестовали Андрея Донатовича Синявского, которого лично я видел один раз в жизни: он выступал на факультете журналистики на литературном вечере, посвященном

Николаю Олейникову. Его книгу «Поэзия первых лет революции», написанную совместно с Меньшутиним, я купил, я был от неё в восторге, и в дополнение к своему интересу к Маяковскому и Хлебникову, увидел там массу других замечательных поэтов этого времени. Кроме того, этим же летом 1965-го я купил однотомник Пастернака (большую книгу в серии «Библиотека поэта») с огромным предисловием Синявского, тоже блестяще написанным. И вдруг после этого сообщение о его аресте. Я спросил у Ромы. Не знаю, из каких источников (может быть, он регулярно слушал «голоса», может быть, нет), но Рома сказал: «Да, Синявского арестовали за роман «Суд идет» об антисемитизме в СССР, опубликованный за границей». Эту фразу я помню совершенно точно. Откуда он это знал, я не знаю. То, что он романа не читал, это точно. То, что он знал об аресте из каких-то неуниверситетских источников, я в этом уверен. Возможно, что что-то такое было передано по какому-то из радио-голосов. Во всяком случае, вскоре после этого нашего разговора Рома исчез. У нас не было никакого прощания, наши отношения не были настолько близки, чтобы регулярно сообщать друг другу о наших перемещениях. После этого он приехал в Москву уже защищаться, и тогда же был наш разговор о Синявском. Я не помню, рассказал ли ему о митинге на площади Пушкина, где я присутствовал, о своих неприятностях по этому поводу (я потерял все свои посты в студенческих организациях, потерял именную стипендию), и было ли ему это интересно. Но ему было интересно, что такое Синявский, что это за книга. Я рассказал ему содержание повести «Любимов» Синявского. Это антикоммунистическая утопия, попытка построить коммунизм в отдельно взятом городе. При этом положительный главный герой, который с помощью магических средств пытается перевоспитать земляков и построить там бесклассовое справедливое общество, терпит крах. Когда я это рассказал Роме, как в финале романа мужик стоит у огромного котлована, строительство которого начато при Тихомирове, и мочится туда, Рома был возмущён. Он сказал, что это позиция глубоко реакционная, и что он не то что считает, что Синявского правильно арестовали, а что такое отношение к нашей истории, и к русскому мужику, которому плевать и на прогресс, и на общество, а главное, чтобы было, куда помочиться, это глубоко оскорбительно для русского народа, и приводил примеры из своей жизни, которые доказывают, что русский народ отнюдь не так относится к себе и к перспективам своего будущего.

Дальше он меня пригласил на доклад в Музее Достоевского, где вместе с ним была моя однокурсница Людмила Поляковская. Там он общался с Белкиным. Что я буду заниматься биографией Белкина, мне тогда и в голову не могло прийти. Это была наша последняя встреча с Ромой. Дальше я только читал его статьи о Достоевском в 1970-е, 1980-е годы.

В 1980-е годы, когда началась Перестройка, и мы стали создавать «Мемориал», я ждал, что Рома как-то возникнет в этой политизированной сфере. Но этого не произошло. Я не следил за его публикациями 1990-х годов, и только когда узнал в 2000-е о его смерти, думая о своих мемуарах, которые были достаточно фрагментарными, я стал думать и о том, чтобы

включить его в этот контекст, хотя он никак не соотносится с моей политической биографией.

Совершенно не помню реакции Ромы на снятие Хрущёва, но думаю, что она была положительной, как и у всех нас. Первое деяние, которое произошло после снятия Хрущёва — это падение Лысенко, который 25 лет руководил советской биологической наукой. После смерти Сталина его позиции пошатнулись, но Хрущёв его потом снова приблизил, хотя вся интеллигенция (и не только биологи, но и гуманитарии) открыто против этого протестовали.

Его реакция на Синявского и мужика в «Любимове» говорит, что он думал и о современном обществе. Я ожидал, что он напишет что-то сенсационное вроде статьи, где бы он связал и Нечаева, и Блюмкина, и Джеймса Бонда.

Однажды я принёс и показал ему книгу по сексологии на испанском языке. Меня 18-летнего эта тема очень интересовала. Он испанского не знал, но страшно заинтересовался, попросил меня перевести фрагменты. Когда я перевел, он стал говорить, что это азбука сексуальной жизни, странно, что европейцу такие вещи нужно объяснять (хотя на русском языке такой литературы вообще не было). Например, как себя вести с женщиной после полового акта.

Он познакомился в последний наш месяц общения в сентябре 1965-го с моим однокурсником В. Ц. Он учился на немецком отделении. Нас поселили вместе в одной комнате. И тут же начались проблемы. Он в первый же вечер 31-го августа познакомился на каком-то университетском балу с некой девицей, по-моему, студенткой химфака, дочерью одного из преподавателей химфака, и у них начался бурный роман. Насколько я понимаю, оба они были девственниками. Роман протекал сначала в парке на Ленинских горах, на спуске к Москва-реке, на лоне природы. Потом погода стала портиться, и он приводил её ко мне в комнату и просил меня в течение часа или двух отсутствовать. Я был очень строг, назначал ему точное время, и на мои вопросы он объяснял, с кем он общается, что она очень стеснительная, требовала, чтобы окно занавешивалось одеялом во время её присутствия в комнате. Когда я рассказал об этом Роме, он одобрил такое поведение и сказал, что очень хорошо, что они оба такие — молодые, что общаются в темноте — это тоже правильно. Но дело не в этом, а в том, что имя и фото этого своего соседа (они встречались так полгода, после этого он женился и переехал в дом, где жили её родители) я вдруг увидел в начале 1990-х годов в статье «Будущий великий инквизитор». Оказывается, В. Ц., проработав 20 лет по распределению в Ленинской библиотеке, начал в 1986 году духовную карьеру. За один год он стал диаконом и священником, защитил в течение следующих трех лет диссертации по богословию (по церковному праву) и по церковной истории. Стал преподавателем Троице-Сергиевской духовной академии. Он служил и, может быть, до сих пор служит в храме, где венчался Пушкин. Все говорили, что он самый близкий к патриарху Алексию человек по вопросам церковного права. Разбор нарушений священнослужителей производился специальной комиссией, создаваемой патриархом. В статье говорилось, что более правильным

было бы создание некоторого единого органа, чего-то вроде церковного суда. В качестве вероятной главы этого церковного суда выступает мой сосед по комнате. Он не стал епископом и митрополитом только потому что он женат и не имеет права занимать эти должности. Они только для чёрного духовенства. Я пытался выяснить, является ли его женой та самая девица, на которой он женился в моем присутствии. Но так и не выяснил.

Назирова одобрял их отношения и даже критиковал меня за то, что я даю им так мало времени.

